

[Оглавление](#)

Лидия Волконская Прощай, Россия! (Моя жизнь) Глава 7. Из рук в руки

Во время моего почти двухлетнего отсутствия в Ромейках было пережито очень опасное время. После ухода немцев с юго-запада России, наш округ снова оказался без власти. Снова появились шайки вооруженных солдат, занимавшихся разбоем и грабежом. Папа, во время набега одной из таких банд, должен был несколько дней скрываться в лесу. От голода и нервного потрясения, он под конец так ослабел, что с трудом держался на ногах и начал галлюцинировать. Ему чудились шаги и голоса ищущих его бунтарей.

Когда шайка ушла, папу стали разыскивать и звать, но он не отзывался, так как думал, что его зовут под угрозой смерти со стороны бандитов; он ушел еще дальше в лес и еще глубже зарылся среди покрытых мхом кочек и густых кустов черники и богульника с его одуряющим запахом. Там отыскивали папу и привели еле живого домой, только после долгих поисков по всему лесу.

Володю, вернувшегося тогда из плена, чуть не расстреляли; а мама, боясь оставить детей одних, пряталась около дома в городе среди грядок тычковой фасоли и конопли. Такое положение продолжалось к счастью недолго. Поляки, отогнав шайки дезертиров, восстановили порядок и нормальную жизнь на занятой ими территории, в которую вошли и Ромейки.

Это было в самом начале возникновения тогда польского государства.

Когда я вернулась из Киева, то жизнь в Ромейках уже наладилась, вошла в обычную колею для того времени, и пережитые опасности были почти забыты.

Гуляя с Лелей по нашей дороге, как бывало в прежние годы, я умоляя ее сохранить все в глубочайшей тайне, рассказывала о моей жизни в Киеве и об увлечении Виталием Шкалевым. И странно, по мере того, как я говорила, с моими словами потухало и уходило в прошлое все пережитое в Киеве, словно я от него освобождалась. Леля слушала меня, затаив дыхание, с какого-то рода подобострастием. В ее глазах я была настоящая героиня книжного романа. В ответ на мое излияние, она тоже мне призналась, что ей нравился один польский офицер, который за ней ухаживал. Говорила Леля об этом так равнодушно, как я бы говорила о том, что мне понравилась шляпка или летнее платье. Володю в Ромейках я не застала. Он за это время познакомился с одной молодой и очень интересной вдовой. Муж ее, офицер царской армии, был убит после развала фронта взбунтовавшимися солдатами. Оставшись одна, она застряла в Антоновке. Володя, влюбившись в эту даму со всей силой первой и запоздалой любви, женился на

ней и уехал под Ковель, в небольшое наше имение, которое папа отдал ему в наследство.

Мне очень хотелось повидать Володю. Я уговорила папу и мы вместе с ним отправились к нему. Не помню почему, но мы поехали не поездом, а лошадьми.

Встреча наша показалась мне не такой горячей как я себе представляла. Наверное потому, что Володя слишком был поглощен своими чувствами к жене. Я не нашла ее такой красивой, как об этом говорили. Впрочем, это объяснялось тем, что она была на последнем месяце беременности.

Володя сильно возмужал и вырос, но не вверх, а в ширь. Ушел он мальчиком, а теперь это был сильный, коренастый мужчина. Его широкие грудь, плечи и спина были словно высечены из камня. Крупные, правильные черты лица его мало изменились, а глаза по-прежнему носили отпечаток грусти. У него появилась новая привычка, как-то многозначительно щурить левый глаз, что придавало лицу его выражение скрытности и легкого сарказма.

- А ты хорошо выглядишь, - заметила я.

- Жена на ноги поставила, - ответил Володя, с нежной любовью посмотрев на нее. Жена Володи занялась на кухне, а он остался со мной на веранде. Здесь-то Володя рассказал мне подробно о той битве, в конце которой он попал в плен.

- Ну а в плен как в плену: приятного мало, - продолжал он, - с голоду дохли. Немцы почти не кормили. Французам и англичанам не так плохо было, они систематически получали посылки из своих стран, мы же русские, только изредка. А когда начались эти все несчастья в России, то и совсем ничего. Союзники, наши товарищи по несчастью, казалось или вовсе не видели того, или не хотели видеть. Сытый голодного не понимает, так то... - многозначительно прищурил глаз, рассказывал Володя, - а когда вернулся домой, то - что нашел, чуть ведь было не расстреляли.

- Знаю, ах, Володя, почему ты не ушел тогда, не спрятался куда-либо.

- Что... стану я прятаться? Да кроме того, я и не знал что они придут. Я сидел себе в моей комнате. Вошли трое или четверо расхлестанные, винтовки на веревках, красные банты, шапки набекрень.

"Это ты офицер?" спросили: кто-то им наверное сказал.

"Я", отвечаю.

"Ступай!" Привели к амбару.

"Становись к стенке".

Я стал и смотрю на них спокойно с полуулыбкой.

"Ты чтож, не боишься?" спросили с удивлением.

"Что, вас?"... протянул я. Остановились, нерешительно переглянувшись.

"Ну чтож не стреляешь? Стреляй", сказал я. Потупились угрюмо и, переступая с ноги на ногу, процедили сквозь зубы:

"Эты, черт с тобой, иди..." и, волоча за собою винтовки, отошли.

Володя взял шепотку табаку, положил на бумажку, свернув папироску и, закурив, продолжал:

- Я, знаешь, хорошо изучил психологию солдат на фронте во время войны и знал как поступать с такими, как эти. Это как дрессировщик диких зверей. Нельзя растеряться, показать, что боишься, - разорвут на месте. Конечно, это был очень рискованный момент, но как видишь, они не посмели.

Вот он мой брат Володя, такой он был всегда, никогда не уйдет, всегда до конца, до

беды какой-нибудь останется.

В обратный путь с нами поехал в Ромейки и Володя. Мы проезжали Стоход.

- Вот посмотри, - сказал он, указывая кивком головы на видневшиеся вдали остатки, как бы сгоревшего леса, - это то проклятое место, где была битва. Там я попал тогда в плен. Жутко смотреть, - передернувшись, Володя отвернулся и замолчал.

На светлом фоне неба четко вырисовывались обгорелые, черные стволы деревьев: одни срезанные, как пилой наполовину, другие надломленные, с висячими вниз верхушками, третьи расщепленные торчали, как вилы, к небу - все обугленное, черно, мертвое. Глянув, я замерла в суеверном страхе. Это была та самая картина, что постоянно повторялась в зловещих снах нашей мамы.

Мы недолго наслаждались спокойствием мирной жизни. Польско-советская война продолжалась. Отойдя от Киева, поляки отступали дальше. Вслед за ними приближались большевики. Стало ясно, что Ромейки будут скоро ими заняты. Мы отправили папу в Ковель, надеясь, что туда они не дойдут, а если и придут, то не будут знать кто папа; в городе легче затеряться среди населения.

В начале большевистского наступления мы не видели никаких частей, похожих на дисциплинированные военные, а появились небольшие грабящие отряды.

Первые, распахнув двери дома и ничего не говоря, рассыпались по всем комнатам.

Войдя в столовую, я увидела три широкие спины в серых солдатских шинелях, шарившие, как шакалы, в нижних ящиках буфета.

- Что вам здесь надо? - спросила я, подходя.

- Мы ищем, нет ли у вас оружия, - сказали они, не глядя и продолжали рыться.

- Никакого оружия здесь нет, здесь живут только женщины и дети, - продолжала я, немного ободрившись.

- Знаем, знаем буржуй-то удрал. Да ты говори вот нашему "ахвицеру", - сказали они, оглядываясь на вошедшего в эту минуту военного.

На первый взгляд, его действительно можно было принять за офицера. Хорошего роста и сложения он был одет в немного великоватую для него офицерскую шинель из чудесного тонкого сукна, погоны на ней были сорваны, но пуговицы царской армии на ней сохранились. На груди красовался большой бант, а на фуражке, вместо офицерской кокарды, была прикреплена красная звезда.

Увидев меня, он приосанился и, поглядев на солдат сверху вниз, протянул в нос, стараясь говорить литературным языком:

- Аставь-те, а-ставь-те. Здесь ничего нет.

Я сразу догадалась, что он всеми силами старается показать мне, что он настоящий офицер.

- Как я рада, что вы пришли, - обратилась я к нему, - вы, как офицер, понимаете, что так

же нельзя. Прикажете вашим солдатам прекратить этот... "грабеж", чуть не вырвалось у меня с языка, но я вовремя спохватилась.

- Да, ка-нешно, ка-нешно. Я понимаю и вообще... - гнусавил он в нос, - касательно достижения партии и революционного продвижения вперед и большевистские дак-и-трины, знаете ли, комму-на, комму-нет...

Тут он окончательно запутался в высокопарных словах, значения которых, видимо, не понимал, нахватавшись их где-то на митингах. Я быстро пришла ему на помощь.

- Да, я вижу, как вам трудно руководить малообразованными солдатами, но вы, человек интеллигентный, должны их сдерживать.

- Барышня! Ходите-но, ходите хучей! - поманила меня в это время, приоткрывая дверь, кухарка Гапа.

- Что такое? - спросила я тревожно, выходя к ней.

- Хлеб, целюсенький хлеб с печи вытянули, проклятые, еще сырий, недопеченный! - в отчаянии жаловалась она.

В кухне, куда мы с ней вбежали, уже не было ни солдат, ни хлеба.

В конце дома в запущенной комнате, где стояли всякие сундуки, корзины и ненужные вещи, я услышала какой-то шум и пошла посмотреть в чем дело.

Там, в старом барахле рылись деловито солдаты, а "ахвицер", заложив ногу на ногу, сидел на углу раскрытого сундука и с большим вниманием следил за ними.

В то время как я вошла, один из солдат вытащил из угла оплетенную бутылку с керосином и победоносно показывал ее "ахвицеру".

- Это киеросин, - произнес он с усилием, но правильно, и, заметив меня, смущенно заерзал.

- Да, это керосин, - подтвердила я печально, делая вид, что сочувствую их разочарованию; но тут в какой-то настороженности всей фигуры "ахвицера", в крутом, упрямом повороте его шеи, я почувствовала что-то такое, что заставило меня немедленно уйти и больше им на глаза не показываться.

Обшарив весь дом и забрав во дворе одну из последних коров, они отправились дальше.

Подобные налеты совершались почти каждый день. Искали они провизию, которую мы всеми силами старались спрятать. Как только эти "мародеры" (мы так и называли) показывались, мама уходила и пряталась в огороде, а я с ними воевала.

- Лида, иди, иди скорее! Они полезли в погреб и тащут мясо и сало, - закричала вбегая Леля.

Накануне закололи свинью, наш последний ресурс, так как мы боялись что ее заберут живьем. Все мясо и сало мы вложили в бочки и закопали в темном углу погреба, который находился в стороне от дома. Около него, когда я подбежала, стояли две оседланные лошади, и солдаты перекидывали им на спины мешки с мясом.

- Что ты тащишь? Это твое? Давай обратно, - сказала я приблизившись.

- Отстань! - процедил один из них мрачно, влезая на лошадь.

- Что мы с голоду должны умереть? Вас здесь сотни проходят, разве мы можем всех накормить, отдавай! - повторила я настойчиво.

- Отступись, пристала как пиявка, а то конем разъеду, вишь, какая нашлась!

Испугавшись, я отошла, но продолжала:

- Это ты нашелся, я то тут всегда была, и мы тоже люди и нам тоже, как-то надо жить на свете.

Неожиданно смягчившись, он засунул руку в мешок и вытащив оттуда несколько кусков

мяса, бросил их на траву возле меня.

- На, подавись, холера чертова, - пробурчал он снисходительно и сдвинув сердито на затылок шапку, дернул поводья и отъехал.

На смену этим частям пришел хозяйственный отряд. Задача его была вымолотить и увести зерно из стоявших на полях, скирд. Начальник отряда наказал через наших рабочих, чтобы мы с Лелей наравне с ними шли в молотилку подавали снопы. Никто нам этого не передал.

Обозленный начальник прибежал к нам в дом.

- Что это вы здесь бунтуете! Почему не идете в молотилку? - закричал он, когда мы с ней, взявшись за руки и, глядя на него во все глаза, как двое испуганных зверька, выбежал навстречу.

- О! - он вдруг переменял тон, - я вижу, вы действительно больны. Я не знал. В таком случае конечно не ходите, не надо... обойдется и без вас, - твердил он смущенно. Мы смотрели испуганно, ничего не понимая. Потом только узнали, что кто-то из рабочих, защищая нас, сказал ему, что мы больны.

Вымолотив все, что было в имении и забрав зерно, отряд уехал.

Начальник другого отряда из соседнего имения стал часто приезжать к нам и ухаживать за мною. Он уговаривал меня ехать с ними, куда-нибудь вглубь России.

В один из его приездов, мы и девицы Неревич собрались вечером у нас на крыльце.

Пришла и управляющая Александра Степановна, наша певунья.

Управляющая, как это она часто делала, начала тихонько напевать сначала как бы про себя, потом все громче и громче:

"Звезды мои, звездочки,
Полно вам блистать"...

Мы, одна за другой, присоединились:

"Полно, полно вам

Прошедшее нам напоминать"...

Пропели и еще несколько песен, а потом управляющая затянула солдатскую песню царской армии:

"Пишет, пи-и-шет царь туре-е-цкой

Пишет Бе-е-е-лому царю-у-у"...

Наш большевистский гость терпеливо слушал, слушал, а потом сказал:

- Ну, хорошо, пропели старые, а теперь давайте споем новые, и предложил Интернационал.

Тут наша управляющая, воодушевленная и гордая своим голосом и пением, как вскочит, как раскроет свой рот, - так никак его закрыть не смогла.

- Я, я! - кричала она на весь двор, - буду я петь их паршивый интернационал!

Паскудитесь! Пошли они все к черту. Вот "Боже царя храни" - запою.

- Уймите эту сумасшедшую, - воскликнул наш гость, обращаясь ко мне, - я ведь, партиец, я не имею права слушать такие речи, я ради вас терплю.

- Александра Степановна, успокойтесь, ради Бога! Думайте, что хотите про себя, - говорила я ей на ухо, тряся и дергая вниз за руку, да помолчите лучше.

- А чего я буду молчать, - не могу я говорить, что хочу и думаю? - продолжала она все так же, - они еще может захотят, чтобы я их Ленина воспевала. Этого... - прервав, она вскочила и убежала в дом, хлопнув со всего размаха дверьми.

На крыльце воцарилась гнетущее молчание.

- По настоящему я должен был бы немедленно ее арестовать. Эта идиотка все равно не уйдет от этого. Но пусть это сделает кто-либо другой, а я... я лучше..., - произнес спокойным, удивившим меня тоном, большевик и, недокончив своих слов, он поднялся и уехал.

После этого он к нам больше не показывался. В Ромейках наступило затишье.

Большевики ушли дальше в Польшу и никто из них некоторое время у нас не появлялся.

Примерно в середине августа - это был 1920 год - подходя к дому со стороны сада с корзинкою помидоров, я услышала громкий мужской голос, повелительно отдававший приказания:

- Степан, скажи чтобы напоили лошадей! Как не напомним, то никто не подумает. Да, позови сюда...

Обойдя кусты, я увидела, не веря своим глазам, на крыльце русского офицера. Хотя его мундир не носил знаков офицерского отличия, но по его уверенной, видимо, привычной манере отдавать приказания, по его военной выправке сразу видно было офицера. Послушно вытянувшись перед ним, внизу стоял у ступенек солдат.

"Что за наваждение? - совсем картинка из старой русской армии", недоумевала я, проходя через черный ход на кухню. "Однако это подозрительно, почему опять появились военные?" - продолжала я размышлять.

Офицер поместился у нас в доме, а солдаты его отряда, оставались где-то во дворе.

Вечером, приготовив на веранде скромный ужин, - макароны с творогом и помидоры - мы пригласили нашего гостя к столу. Несмотря на то, что он производил впечатление очень располагающего к себе, интеллигентного человека, ужин прошел очень неприятно и томительно. Гость наш буквально ничего не говорил, словно немой был; на все наши попытки завязать разговор и на наши вопросы он только изредка и невнятно мычал: "да, нет".

На другой день, оказалось, что он мог говорить, так как сказал мне:

- У вас, кажется, очень красивый сад. Интересно посмотреть. Может вы не откажетесь показать мне его?

В саду я пошла с ним по главной тополевой аллее. Летом через Ромейки пронеслась сильная буря с грозой и повалила один из тополей. Неприбранный, он лежал поперек дороги, преграждая ее.

- Мы легко можем перебраться через него, - сказал офицер, подходя к упавшему дереву. Когда мы взобрались на широкий ствол тополя, он быстро соскочил, и протянул мне руки, чтобы помочь сойти. Потом обхватив меня, задержал дольше, чем это нужно и можно было.

- Вы не боитесь оставаться со мной наедине здесь в саду? - отпуская меня, спросил он.

- Я, чего же мне бояться? - ответила я с удивлением.

- Как чего? Я же большевик, а большевики, вы знаете, многое себе позволяют и часто очень нехорошее.

- Какой вы большевик, в вас ничего нет большевистского. Вы настоящий русский офицер.

- И все же я большевик, - сказал он печально и задумался.

Чтобы миновать тополь, я пошла назад с ним боковой дорожкой.

Он оставался у нас несколько дней. Между нами возникла большая симпатия.

Перед отъездом он вырезал на колонке веранды свое имя, рядом с уже раньше вырезанным кем-то сердцем, пронзенной стрелой. Прощаясь наедине, мы в первый раз, но горячо поцеловались.

Сразу же, на другой день после его отъезда, пришел новый отряд, санитарный и еще более похожий на те, какие были в старой русской армии.

Вечером в освещенных, широких окнах наших парадных комнат суетливо двигались силуэты военных. Против окон, на качели белело в темноте форменное платье сестры милосердия. Слегка покачиваясь, она пела. Я долго не могла забыть этого пения.

Скорее это можно было назвать не пением, а страстным признанием в любви. Сколько чувства, столько призывной, горячей мольбы было в нем.

- Не правда ли, хорошо поет? - обратилась ее сослуживица, выходя на крыльцо, где я сидела.

- Хорошо, очень хорошо, как соловей, зовущий свою подругу, - согласилась я.

- Да это так и есть, она одного нашего доктора вызывает. Влюблена в него без памяти, - пояснила мне ее подруга.

"Это они то, - большевики! Одно название которых наводит страх на всех. А они хотят быть любимыми, хотят любить! В сущности, какая разница между людьми вот этого самого санитарного отряда и такого же в Белой армии, в польской, немецкой? Люди-то - все те же. Так же чувствуют, думают, страдают, боятся смерти. Разве их вина в какой армии, стране, а может и партии они принадлежат. Так сложились обстоятельства их жизни и судьбы", думала я, не чувствуя к ним вражды.

Утром, почти до рассвета, их уже в Ромейках не было.

Дня через два, мы пошли в лес искать грибы. Там среди тревожного лепета, печальной, уже предчувствующей близкую осень, листвы, я расслышала слабый, порою доносившийся, знакомый мне звук артиллерийской канонады. "Неужели, неужели?" - думала я, не веря своим ушам.

На другой день я пошла в лес проверить. В Киеве я научилась различать все оттенки артиллерийской стрельбы и почти без ошибки могла сказать: кто наступает и как сильно, и кто отступает и как быстро. Канонада приблизилась. Ясно - одни наступают, другие отходят и быстро. А кто? - понятно.

- Мама, большевики отступают! - сказала я радостно, вернувшись из лесу.

- Откуда ты это взяла? - недоверчиво спросила мама.

- А вот увидите, через несколько дней их здесь уже не будет, - сказала я уверенно.

И действительно, спустя несколько дней, мы с Лелей стояли вечером у ворот и смотрели, как по дороге, не главной, а боковой, в облаке пыли, отходили отряды красной кавалерии.

"Эй, ну те же хлопцы,

Славные молодцы,

Чего смутны не веселы,

Чи в вашей чарке нема горилки,
Чи пива, меду не стало"...

- донеслась с ветром песня, которую в юности пел Володя, когда с парубками ездил купать лошадей.

Песнь ли эта, напомнившая мне беззаботное наше детство; грусть ли, охватывающая нас порою при закате дня; сознание ли ужаса братоубийственной войны, терзавшей нашу родину, - но я вдруг тяжело вздохнув заплакала.

- И чего это ты? - с удивлением обернулась ко мне Леля, - что тебе жалко, что они уходят. Радоваться надо, а не хлюпать. Это такое счастье...

- Да, для нас это счастье, - грустно согласилась я, - а все же это свои.

Во время советской оккупации мы не имели и не могли иметь никаких сведений от папы и Володи.

Через некоторое время, после ухода большевиков, вернулся из Ковеля измученный и сильно постаревший папа и с ним Володя. Он был один.

Его нельзя было узнать. Худой, сгорбленный, с застывшей гримасой страдания на лице, с глубоко впавшими глазами, то словно устремленными внутрь себя, то тревожно бегающими и будто, что-то ищущими. И физически и душевно Володя был совершенно разбит.

Как всегда и везде, куда приходили большевики, вслед за военными в Ковеле появились чекисты и начали "чистку". Схватив Володю, они посадили в Чека. Что он там прошел, он никогда нам не рассказал. Одно только мы узнали, что он был назначен к расстрелу и только, неожиданно ворвавшись в Ковель поляки, спасли его жизнь.

Жена его потрясенная горем, родила преждевременно неживого ребенка и, получив заражение крови, умерла.

Войдя в дом, Володя молча прошел в свою прежнюю комнату, не раздеваясь лег на кровать, лицом к стенка, и застыл.

Когда я осторожно подошла к нему, чтобы прикрыть и предложить поесть, он тихо простонал:

- Не тронь, не тронь, - мне больно.

Несколько дней пролежал он так без движения, не желая ни есть, ни пить, ни говорить. К его спине он не позволял дотронуться; даже прикосновение простыни мучило его. Без моей помощи он не мог ни повернуться, ни сесть.

Первая его просьба ко мне была:

- Лида, заведи граммофон и поставь пластинку, она там у меня в чемоданчике.

Это была любимая пластинка его жены. Я не помню ее названия, но одна фраза ее навсегда врезалась в мою память:

"Весною весь сад разовьется

И могилу покроют цветы"...

Как ни старалась я спрятать эту пластинку, отвлечь его внимание от нее, заговорить его - ничего не помогало. Опять и опять он просил, чтобы я ее ставила. Это была пытка и для него и для меня. Очевидно ему надо было пройти через нее, чтобы вернуться к жизни. Постепенно боли в спине утихли, и он начал садиться и разговаривать со мной. Я напрягала все свое умение, чтобы отвлечь Володю от его мыслей.

- Володя, - говорила я, - ну повернись, посмотри хоть в окно, на деревья, на сад, на небо. Видишь, как бегут облака. Все время приходит, меняются, уходят. Так и в жизни все меняется, все уходит. Прошлое ушло, а новое надвигается.

- Я ничего нового не хочу, - мрачно отвечал он, - и к чему вся эта канитель, эта жизнь? - одно мучение...

- Нет, не одно. Все чередуется, то горе, то радость, то дождик, то солнышко, - внушала я ему.

- Не говори, у одних почему-то все больше солнышко, а у других дождик, да тучи, да горести тянутся без конца. А солнышко если и блеснет, то на один миг, точно хочет показать, что оно существует или подразнить, чтобы после него еще тяжелее и горестней стала бы жизнь.

От этой нашей философии, я незаметно стала переходить на более жизненные темы.

- Мы с тобой Володя, настоящие ромейские дикари. Всегда жили почти по соседству с семьей священника из местечка Степань, и никогда с ними не познакомились. Вчера я случайно к ним попала. Вот же хорошенькая у них старшая дочка. Глаза серые, робко сияющие под густыми ресницами. Тип русской боярышни. И хорошо образованная, воспитанная. Два года были на курсах в Петрограде, но скромная и миля. Ты ее видел?

- Нет, не видел и не собираюсь, - коротко отвечал Володя.

Я еще раз попробовала заговорить о ней, но без всякого успеха.

Как известно, время - лучший доктор. В корне железное здоровье Володи помогло тому, что он понемногу стал успокаиваться и приходиться в себя. Что касается его душевного состояния, то и потом я помню немногие минуты, когда Володя бывал веселым, может быть счастливым. Но и в эти редкие минуты его глаза не загорались яркою радостью жизни: в них всегда глубоко таилась сдержанная печаль.

Долгое время после отступления Красной армии, в Ромейках никто не появлялся.

Поляков мы увидели только тогда, когда после успешного окончания войны с Советским Союзом, они победителями возвращались домой.

- Поляки! Леля, посмотри, поляки, - прошептала я испуганно-радостно, когда мы, вернувшись с прогулки, вошли во двор.

На крыльце, смотря с интересом по сторонам, стояла группа офицеров в красивых, западноевропейского образца, мундирах.

- Как нам пройти, может через кухню? - заколебались мы.

- Нет, идем прямо, что не можем мы войти в наш дом, что ли?

Оглядывая нас жадно любопытными взглядами офицеры, козыряя, вежливо расступились пропуская нас.

- Это тебе не большевики! Заметила, как они смотрели на нас? - говорила я взволнованно, - а один так глубоко глянул на меня из под козырька, что сердце у меня дрогнуло.

Квартировали они у нас недели две. Вечерами мы собирались в гостиной у камина. Я очень повеселела тогда и умела как-то и всех развеселить. Начиналось с того, что кто-нибудь заведет разговор. Я с серьезным видом поясню его в несколько комическом свете. Другой из компании добавит мне в тон. Я разовью еще больше и еще в более смешном виде. Слово за словом доходит до общего смеха. Среди него я серьезно вставляю отдельные, как бы пояснительные слова, от которых все хохочут до слез, до спазм.

- Перестаньте, ради Бога, перестаньте, - вопят все задыхаясь от смеха. Леля, не выдержав, вскакивает и убегает, а я за ней.

- Ну, знаете, прошли мы всю Волынь и всю Подоль, но таких веселых и интересных барышень нигде не видели, - говорили наши кавалеры.

Моему веселью скоро пришел конец: я влюбилась в того офицера, что так ласково посмотрел на меня при первой встрече на крыльце. Его имя было Игнась. Хотя он был поляк, но он родился, вырос и воспитался в России и был офицером царской армии. Игнась тоже сильно, казалось, увлекся мною. Мы встречались, целовались, пока в одно прекрасное утро, ими не был получен приказ отойти. Прощаясь, Игнась сказал мне:

- Я вернусь, непременно вернусь, как только мы придем на новое место, я попрошу отпуск и приеду.

Мне почему-то не верилось, и я затосковала.

Через несколько дней, на смену им пришли новые и в доме у нас расквартировался штаб корпуса.

Почти все офицеры этого штаба мало напоминали нам поляков, какими мы знали их раньше, похожими на русских. Большинство из них, вступило во вновь сформированную польскую армию из других западноевропейских армий.

Со мной стал заговаривать начальник штаба. На мой взгляд он был уже немолодой, но с изысканными манерами западный европеец и тонко образованный дипломат. Несколько раз он предложил мне поехать с ним покататься на его породистой английской лошади, запряженной в элегантный, двухместный кабриолет. Во время этих поездок он высказывал свои взгляды, главным образом на типа женщин почти всех европейских наций и так же тонко охарактеризовал японок и китайок. По-видимому, он много где бывал и много чего видел. Наверное, чтобы мне польстить, он сказал, что больше всех ему нравятся русские женщины и, что если бы он женился, то только на русской. Он находил их искренними, сердечными, покорными и в то же время разумными.

Однажды, выехав поздно под вечер, он торопился назад, так как ему надо было принимать и отсылать какие-то спешные донесения.

Надеясь сократить время, я указала ему на, ведущую напрямик, полевую дорогу.

Сначала она шла полем, а потом спустилась вниз на сенокос. Там мы попали в непролазную грязь. Облипнув по оси, колеса молили ее, с трудом поворачиваясь.

Разгоряченная лошадь рвалась, запенившись. Мой кавалер сердито хлестал ее, а мне

казалось, что он вымещал на ней злость, относившуюся ко мне.

Налетал порывами сумрачный, осенний ветер. Навстречу нам, заслоняя небо, ползла, крадучись как дракон, сизая туча. Каждую минуту мог пойти дождь. Стемнело, вскоре ничего не стало видно. Было холодно, неловко, очень неприятно.

Чувствуя себя виноватой, я подавленно и глупо молчала. Подчеркивая это еще больше, он тоже не отзывался и одним словом, продолжая в темноте хлестать лошадь.

Выбравшись наконец из грязи, мы благополучно добрались домой, но с большим запозданием.

Мама встретила меня широко раскрытыми, испуганными глазами, но в замешательстве ничего не сказала.

Начальник штаба ни разу больше не пригласил меня покататься с ним и начал ухаживать за Лелей.

Леле было 18 лет, и она была исключительно хороша собой. Её стройная, хрупкая фигурка своей легкостью, казалось, не касалась земли. Все в Леле было пропорционально, все гармонировало: и чистый, гладенький, как у яичка, овал лица, и ровненький, тонок очерченный носик, и золотисто-орехового цвета, смотревшие с кротким доверием на всех и все, большие глаза. Один только маленький недостаток: это слабые, почти незаметные брови и ресницы умаляли красоту Лелиного лица. Мужские поверхностные взгляды часто скользили мимо Лели, обращаясь на меня, хотя она была красивее меня. Только те, кто дольше и внимательнее вглядывались в Лелю, начинали понимать все обаяние ее тонкой красоты.

Наружности Лели соответствовал ее характер: мягкий, добрый, отзывчивый, неспособный причинить кому-либо боль или обиду, разве только под посторонним влиянием и бессознательно. Влиянию же Леля поддавалась легко и всецело.

Напоминала она прекрасную вазу, в которую кто-то должен был вкладывать содержание. Долгие годы, начиная с детских лет и до замужества, Леля была под сильным моим влиянием. Я упрекала себя, что затираю ее - обезволиваю; но убедилась, что и без меня, она была все та же. Леля никем и ничем не увлекалась. За всю жизнь я знаю только двух, кто ей нравился, но только нравился, не больше.

Мне вообще с этим штабом не повезло. Командующий этим корпусом был высокий, статный, с гордо военной выправкой и уже седеющий, генерал. Носил он чисто немецкую фамилию и раньше служил в австро-венгерской армии. Он стал оказывать мне большое внимание. Я же стеснялась его и избегала, как только могла. А он всюду меня замечал и смотрел настойчивым, нежным взглядом.

Выйдя на крыльцо, я неожиданно наткнулась на генерала. Он сидел на скамейке рядом со своим молодым, хорошеньким, как херувимчик, адъютантом.

- А, вот и вы! Пожалуйста, пожалуйста, идите-ка, садитесь вот сюда, - сказал генерал, отодвигаясь от адъютанта и указывая мне место между ними.

- Ну, давайте поговорим. Вас никак не поймаешь. И чего это вы все прячетесь?

- Я не прячусь, только так... - сказала я сконфуженно, садясь.

- Скажите, вы довольны, что мы пришли? - продолжал он.

- Еще бы, мы еле-еле уцелели. Если бы вы не пришли, то не знаю, что бы с нами и было, - сказала я.

Во время разговора, адъютант, который мне нравился гораздо больше, но не обращал на меня никакого внимания, поднялся и ушел. Не успел он скрыться, как генерал наклонился и, обхватив мою ногу у щиколотки (мы носили тогда с Лелей дома на босую

ногу, сшитые из полотна, туфли на манер балетных с высоко перекрещенными у щиколотки черными лентами) и стал гладить и тянуть к себе, приговаривая:

- Какие маленькие, чудные ножки.

Покраснев до слез, я вертелась, как на угольях, не зная что делать. К моему счастью, кто-то вышел из дому, и генерал быстро оставил меня.

Его внимание было мне неприятно. Я все еще была влюблена в Игнася и тосковала, не получая от него никаких вестей.

В это время один из офицеров ни с того ни с сего сделал Леле предложение. Перед этим он за ней не ухаживал и только раза два перекинулся несколькими словами. Ни она его, ни он ее почти не знали. Не чувствуя к нему никакого влечения, Леля отказала. То, что кто-то сделал предложение Леле, а не мне; то, что Игнась не приезжал и не писал, и то, что на меня стали обращать внимание только пожилые офицеры - все это наводило на меня тяжелые размышления. Я решила, что молодость моя проходит, что я старею и становлюсь кандидаткой в старые девы.

Постояв у нас две недели, штаб корпуса ушел.

На другой день, папа сказал мне:

- Вот вам, ваши ухажеры, все время брали наше сено, выдавали квитанции с обещанием заплатить и ушли не расплатившись. Что теперь с этими расписками делать, в печку бросить и только.

- Подождите, папа, может еще заплатят, - сказала я.

- Где это и когда, ищи ветра в поле!

Папа и мама, напуганные и подавленные всем пережитым, еще не совсем пришли в себя.

Володя, хотя и поправлялся, но никакого участия и интереса к жизни не проявлял.

Из его имения приехал приказчик и заявил, что весь инвентарь: лошади, коровы и прочее были при большевиках разграблены мужиками; но что у него имеются точные списки, кто и что забрал. Он просил, чтобы кто-нибудь из нас туда поехал, так как только в присутствии владельцев, он может вернуть если не весь, то хоть часть, забранного инвентаря.

Ни папа, ни Володя и слышать не хотели об этом деле.

Подумав, что штаб корпуса, по всей вероятности, стоит в Ковеле и, что я могу там встретить Игнася, я предложила папе заняться этим делом и квитанциями за сено.

- Что ты выдумала? И куда ты поедешь, и что ты можешь сделать? - изумился папа.

- Да там и делать нечего. Незаплаченные квитанции предъявлю в штаб, а потом поеду в имении. Лошади и коровы отберет приказчик, а я только посижу и посмотрю. Вот и все, - старалась я убедить папу, хотя в глубине души далеко не была уверена, что это мне удастся. "А чем я рискую, проеду в Ковель, увижу всех, может и Игнася", думала я.

После некоторого колебания, папа, наконец, согласился.

Я уговорила Лелю и мы отправились вместе.

К моей большой радости в Ковеле стоял не только штаб, но и все офицеры этого корпуса, в том числе и Игнась. Он очень мне обрадовался. Наше влечение возобновилось с еще большею силою. Игнась не отходил от меня во все время нашего там пребывания. Он же мне узнал, куда обратиться с моими квитанциями.

Офицер, которому я их предъявила, начал отговариваться.

- Я не могу найти в книгах дубликатов этих квитанций. Странно, как это они могли остаться незаплаченными. Боюсь они просрочены. Мы старые записи уничтожаем, - говорил он.

- В таком случае, я попрошу генерала, назначить кого-либо, из стоящих у нас, для выяснения этого дела, - сказала я.

- Генерала беспокоить незачем. Приходите завтра. Я сам сделаю нужные справки, - поспешно ответил он.

На другой день я получила все деньги сполна.

В имении тоже все прошло, неожиданно для меня хорошо. Некоторые мужики вернули забранных ими лошадей и коров, а другие заплатили за задержанные ими.

На обратном пути, нас ждал в Ковеле Игнась. Офицеры штаба пригласили нас на обед, устроенный ради нашего приезда. Игнась сидел около меня. После обеда он отправился с нами в нашу гостиницу. Леля ушла в город за покупками, а он, присев ко мне на диванчик, стал обнимать и целовать. Поцелуи его становились все горячее и горячее. Заметив, что это заходит слишком далеко, я испуганно отстранилась.

- Хорошо, - сказал он успокаиваясь и несколько обиженно, - тогда я лучше поговорю об этом с вашим папой, когда приеду в Ромейки.

Вернувшись домой, я ждала его, то с тяжелым предчувствием, что больше не увижу, то с надеждою и верою в его сильное чувство ко мне. Прошло недели две и стало ясно, что он не приедет.

Потянулись однообразные, будничные дни. Подходила зима. Не только военных, но вообще никого больше в Ромейках не видно было. Война была кончена.

По мирному договору, заключенному в ноябре того 1920 года, граница между Польшей и Советским Союзом, прошла по так называемой линии Курзона. Ромейки оказались на стороне польской, верстах в шестидесяти от советской границы.

Никто сначала не думал, что это будет надолго. "Теперь победили поляки, а через месяц или несколько, победят большевики", говорилось безнадежно.

Трудно было себе представить, что мы остались в стороне, что все конечно и война, и революция, и гражданская борьба, и что вообще возможна продолжительная мирная жизнь и право на нее, охраняемое законом.

Однако, на этот раз мир установился на многие года. Советский Союз отгородил себя от Польши такой непроникуемой стеной, через которую не только человеческое существо, но даже мышь, как тогда утверждали, не могла проникнуть. Позади этой преграды образовался казался, бездонный провал, над которым стояла жуткая, мертвая тишина. В продолжение последовавших девятнадцати лет, оттуда не доходило никаких признаков жизни, и мы постепенно забыли о страшном соседстве.

В нашем маленьком, отдаленном уголку восточной Польши понемногу все пришло в свой прежний вид. Все те же мужики, все те же деревни, усадьбы помещиков, те же хозяйства, широкая торговля, лавки, изобилующие товарами, церкви, священники, праздники. Только в государственных учреждениях и в школах вместо русского был введен язык польский.

Силою исторических событий, мы стали гражданами вновь возникшего, независимого Польского государства.

(Конец 1-ой части)

[Глава 8](#)

